

АННА
БЕРДИЧЕВСКАЯ

АННА
БЕРДИЧЕВСКАЯ

МОЛЁНОЕ
ДИТЯТКО

(рассказы разных лет)



москва
2017

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Б48

Оформление серии *Алексея Дурасова*

Иллюстрации *Резо Габриадзе*

Бердичевская, Анна.

Б48 Молёное дитяtko / Анна Бердичевская. — Москва : Издательство «Э», 2017. — 384 с.

ISBN 978-5-699-99397-0

Когда ее арестовали, она только что забеременела. Доктор в тюрьме сказал, что поможет избавиться от ребенка: «Вы же политическая – дадут не меньше восьми лет. Когда дитяtkе исполнится два года – отнимут. Каково ему будет в детских домах?» Мать лишь рассмеялась в ответ. Спустя годы, полные лишений, скорби и морока, она в очередной раз спасла дочь от смерти. Видимо, благородство, закаленное в испытаниях, превращает человека в ангела. Ангела-хранителя.

Рассказы, вошедшие в книгу «Молёное дитяtko», писались в разные годы. Читатель будет двигаться по книге, как по шкале времени: от середины двадцатого века к году 2017-му. Эта хроника перемен, данная в лицах и судьбах, исполнена немногословно, точно и поэтично.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

© Бердичевская А., текст, 2017
© Резо Габриадзе, иллюстрации, 2017
© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2017

ISBN 978-5-699-99397-0

От автора

Всякая книга — путешествие во времени. В любом романе, повести и рассказе, время независимо от воли автора, непременно становится одним из главных героев. Рассказы, вошедшие в книгу «Молёное дитяtko», писались мною в разные времена и о разных временах. Бывало, что время написания совпадало со временем действия, а бывало, что вовсе нет. Собирая рассказы под одну обложку, я решила пометить каждый из них не годом написания, как это, в общем-то, принято, а годом (или годами), в котором происходит действие рассказа. Таким образом, читатель будет двигаться по книге, как по шкале времени, от середины двадцатого века к году 2017-му. К чему это приведет — затрудняюсь сказать. Во всяком случае надеюсь, что я, а вслед за мной читатель, вместе проживем некоторую жизнь. И вместе избежим путаницы в реалиях и контекстах, ведь дата нередко говорит сама за себя, особенно в такой стране, как Россия. У нас что ни пятилетка, что ни генсек или президент — новая эпоха, со своими, и очень противоречивыми, приметами... Были трудодни — нет трудодней, был ГУЛАГ — забыли, была перестройка — стала перестрелка, был Союз нерушимый — и где он... ну и так далее. Попробуй, попрыгай по таким кочкам! А напишешь под названием рассказа дату времени действия — и сразу понятно, на каком ты свете окажешься...

Итак, отправляю вас по следам моих героев, людей незначительных, далеких и от власти, и от денег, из года 1945-го (когда еще и меня не было) в год 2017-й, где я еще присутствую.

Счастливого пути!

Анна Бердичевская

I

Якубова, на выход!



Неучастник

(1945)

Этого города на свете нет, но он был, и достаточно долго, чтобы попасть на розовые карты страны. Розовый — цвет Родины. Четыре черные буквы по розовому — С.С.С.Р. — они до сих пор намертво впаяны в глаза и уши миллионов людей. Державу помнят.

О городе Молотове давно не вспоминают.

Но он важен для меня, его название волнует мое сердце.

У этого города были свои обычаи, свой облик. И свои обитатели. Моя мать. Мой отец. И человек, который вполне мог стать моим отцом. Именно о нем, о человеке, чью фамилию могла бы носить, я вспоминаю чаще, чем об отце. И, честно сказать, когда-то жалела, что я не его дочь. Не так уж очень жалела... и все же.

Юрий Якубов женился на моей маме в городе Молотове, и было это в самом-самом конце Отечественной войны. В победоносную пору. Очень, впрочем, голодную. И вдвойне опас-

НЕУЧАСТНИК

ную, потому что в это время, по случаю побед на фронте, в тылу опять обострилась классовая борьба. Потому что усатый в Кремле задумался... Как все упыри он спал днем и бодрствовал ночью. А ночь — время тревожное, время опасений, страхов и мрачных прозрений. В начале войны обратился к соотечественникам: «Братья и сестры!» Нашел слова. А в конце войны стал этих сестер и братьев подозревать. Он о них задумался...

Мама работала в месте, как и положено, голодном. Но теплом. В мастерской по набивке тканей, разместившейся в большой и светлой комнате на четвертом этаже центрального универмага города Молотова. Сюда приходили дефицитные шерстяные ткани — драп и сукно. Их не отправляли со склада прямо на продажу, а разрезали на покрывала и платки, чтоб в мастерской «набивать» на них узоры масляными красками. Моя мама как раз и разрабатывала эти узоры, затем вырезала из ватмана бритвенными лезвиями сложные, трехслойные трафареты, затем пропитывала их олифой и раскладывала сушить. Затем шестнадцать женщин наносили с помощью трафаретов узоры на отрезы. Набивку делали тампонами из шерстяных обрезков и просто зубными щетками.

И все ради, как говорили, «добавочной стоимости Карла Маркса». Как глубоко, однако, проник «Капитал» в суть советской торговли... Конечно, покупателям в универмаге нужны были не покрывала в цветочек, а теплые шерстяные костюмы, платья, пальто. Но продукцию мастерской тем не

менее хорошо раскупали. Чтобы отнести домой и с помощью скипидара смыть узоры, а затем уже пошить (как тогда говорили), что требуется. Без узоров.

Так вот, производилась эта не слишком необходимая красота в райке, где вокруг царствующей посередине комнаты чугунной печки текла теплая бабья жизнь. Оказывается, и к войне можно привыкнуть. В мастерской работали эвакуированные, они постепенно отогрелись, стряхнули свои страшные воспоминания, повеселели, похорошели, стали песни петь и выпекать блинчики из мороженой картошки прямо на чугунной плите. Запах этих блинчиков — драников — волновал персонал универмага, да и покупателей... Их запретили. Но песни — украинские, молдавские, еврейские, литовские, белорусские и общие советские — запрещать не стали.

На эти песни и на морковный чай, завариваемый прямо в огромном медном чайнике, всегда стоящем на плите, стал захаживать (и все чаще) Юрий Федорович Якубов, человек обаятельный и никчемный... Правда, он знал тьму языков, а их ведь надо выучить, а потом не забыть. Но в розовой державе нашей знание языков было делом именно никчемным и даже опасным.

Впрочем, его знание языков, в том числе и древних, в глаза не бросалось. Никто в мастерской и не догадывался об этом, пока к одной из девушек-художниц не пришел папаша, эвакуированный из блокадного Ленинграда доходяга-дистрофик. Папа этот был знаменитым лингвистом, профессором Розенталем, брюзгой и ипохондриком,

НЕУЧАСТНИК

страдавшим более всего от скудости молотовских библиотек и от недостатка высоконаучного общения. Он и обронил фразу, что единственный собеседник у него в этом дремучем городе — Юрочка Якубов: то на фарси с ним перебросишься, то Катутлла вспомнишь.

Якубов массу всего бесполезного знал. Человечного, забавного, живого... И сорил этими знаниями направо и налево. Сыпал — просто так. Иногда его остроумие носило деятельный и не совсем безобидный характер. Однажды он никого не застал в мастерской — всех мастериц отозвали к начальству на «пятиминутку». Этой самой пятиминутки Якубову вполне хватило. Когда случались перебои с тканями, художницы писали маслом всякие пейзажики на грунтованных картонах. На этот раз на мольберте стоял еще мокрый пейзаж с печальным прудом, заросшим кувшинками. Юрий Федорович вооружился лежавшей тут же палитрой и в манере, далекой от передвижников, изобразил возле прудика колышек с плакатом, на котором написал:

Здесь утопилась Лиза,
Эрастова невеста.
Топитесь, девушки,
В пруду довольно места.

Написал стишок и ушел, очень довольный собой.

Говорят, он вообще писал стихи и прозу... Но где они, груды его рукописей?.. Он никогда не пробовал хоть что-нибудь напечатать в газетах, а

в Молотовское книжное издательство заходил исключительно поболтать.

То немногое, что он читал немногим своим слушателям, говорят, было гениально. Говорят, он перевел всего Алишера Навои. Говорят, он был болен туберкулезом и практически вылечился, съев 14 собак. Говорят, он был конченный алкоголик и морфинист. И нередко лежал в психушке...

Его любили. Самые разные люди, женщины тоже. Детей, говорят, у него не было, не заводились как-то...

Говорят, говорят, говорят... Давным-давно уже и не говорит никто. Последний из тех, кто его помнил, любил и почитал за гения, — поэт Борис Ширшов, умер лет за пятнадцать до конца двадцатого века. А вот уже и двадцать первый...

Кроме обрывков всяческих и, прежде всего, маминых устных воспоминаний, мне помнится еще одно свидетельство о Якубове, впрочем, тоже обрывок. В нашем семейном альбоме хранилась его фотография — хорошая, очень качественная фотография на толстом-претолстом куске коричневатого картона, разорванного нечеловечески сильными пальцами. Как вспоминала мама, сделал это сам Якубов в приступе гнева на себя самого. Он был силен, как бывают сильны сумасшедшие, на портрете оторвал ухо с прилегающей скулой. Но светлые глаза за круглыми очками, как бы светящийся лоб прекрасной формы, большой язвительно ухмылявшийся рот — остались. Мне на память. Мне бы хотелось, чтобы у меня были его глаза и его язвительный рот... Да и мама почему-то не выбросила же единственное и покалеченное фото

НЕУЧАСТНИК

этого человека, с маниакальным упорством выбравшего ее для законного брака.

Пожились они так.

Якубов ходил и ходил в мастерскую. Объявил себя, между прочим, магистром международного ордена хиромантов и графологов, с центром почему-то в городе Бухаресте, и гадал девушкам по руке. Как-то и мама моя подошла к нему со своей раскрытой левой ладонью. Якубов взял ее руку, долго молчал, потом вскинул на маму проницательный взгляд и сказал:

— А вам, девушка, суждено выйти замуж. За меня.

Маме было за тридцать, у нее рос сын — мой старший брат Виктор, и она твердо знала про себя, что уже никогда не выйдет замуж. Потому хотя бы, что она очень любила погибшего Витинного отца. Конечно, Юрий Якубов ей нравился. Он всем нравился. Она его даже любила. Его многие любили. Он волновал ее воображение, он был единственный на весь город Молотов по-настоящему свободный человек, полный всевозможных и невероятных достоинств и недостатков. Но не замуж же выходить за такого! Да, сердце бойко подпрыгивало в груди, когда он, тощий, высокий и сутулый, с запрокинутой головой, с шарфом, похожим на веревку, закрученным вокруг шеи, в элегантном и старом как мир френче, сверкнув маленькими круглыми очками, появлялся на пороге их мастерской. Ну и что? Главным в маминой жизни был Долг — перед Витькой, перед памятью его отца, перед воюющей родиной, перед моей бабушкой, разрывавшейся между двумя

безмужними дочерьми и тремя внуками. Да и просто долги — не с большой буквы, обыкновенные — не отпускали ее. За квартиру, за хлебные карточки, за испорченный драп в мастерской...

Нет, я не думаю, что в те годы мама моя выглядела измученной, сломленной и так далее. Черта с два. Сколько я ее помню, она была всегда на голову выше тех обстоятельств, тех бушующих мрачных волн, в которых барахтался мир. Мир был тяжек, а мама — легка. И не то чтоб она была очень красива по меркам того века, который ей достался. Но, очевидно, Юрий Федорович Якубов знал толк в красавицах иных веков. Она была для него «девочкой от Боттичелли».

Несколько месяцев Якубов приходил в мастерскую почти ежедневно, изредка напоминая о своем непреклонном намерении жениться. Но однажды весной, в одну из первых оттепелей Юрий Федорович Якубов явился с ультиматумом: немедленно в ЗАГС. Оказывается, еще загодя он подал заявление от имени обоих брачующихся, для чего выкрал на время паспорт «невесты» и подделал ее подпись на заявлении. И вот испытательный срок истек, настала пора «расписываться».

Мама была возмущена до глубины души. И сказала: никогда!

Весь коллектив мастерской принял самое горячее участие в судьбе жениха и невесты. Все осуждали Якубова, и восхищались им, и снова осуждали. И поили чаем. И с любопытством смотрели на маму. Юрий Федорович, сняв свой драный солдатский полушубок, сначала мирно пил морковный